





Пенелопа Уилкок

ЖАНЫ 
ГОСПОДНИ



Книга вторая

ББК 86.37

У 36

Перевод с английского

Penelope Wilcock

THE WOUNDS OF GOD

Originally published in English

by Lion Hudson plc,

Oxford, England.

All rights reserved.

Уилкок, Пенелопа

У36 Раны Господни / Пер. с англ. — СПб.: ЛКС,
2016. — 352 с.

ISBN 978-5-94861-227-0 (ЛКС)

ISBN 978-5-9907920-5-0 (Виссон)

Это вторая книга из серии «Сокол и голубь», повествующей о жизни обитателей средневекового монастыря. Вы вновь встретитесь с отцом Перегрином и монахами из аббатства Святого Алкуина, узнаете, как они переносят испытания своей веры. Без пафоса, простыми словами автор говорит о самом сокровенном: о тайне Божьей любви, о том, как открыть душу перед Богом и людьми, не боясь, что и Бог, и люди не примут нас такими несовершенными. Эти давние истории оказываются весьма современными, а их герои способны многому научить сегодняшних верующих.

ББК 86.37

ISBN 978-1-78264-141-4 (*Lion Hudson*)

ISBN 978-5-94861-227-0 (ЛКС)

ISBN 978-5-9907920-5-0 (*Виссон*)

© Penelope Wilcock, 1991

© Издательство «Виссон», 2016

Посвящается моей подруге
Марджери Мэй

Община аббатства Святого Алкуина



Монахи

Брат Эдуард	<i>инфирмарий</i>
Отец Чад	<i>приор</i>
Отец Колумба	<i>аббат — известен как отец Перегрин</i>
Брат Джон	<i>служит в лазарете</i>
Брат Гилберт	<i>регент</i>
Брат Киприан	<i>привратник/пациент лазарета</i>
Отец Мэтью	<i>наставник послушников</i>
Брат Валафрид	<i>травник/винодел</i>
Брат Джилес	<i>помощник травника</i>
Брат Майкл	<i>служит в лазарете</i>

Брат Эндрю	<i>повар</i>
Брат Амброз	<i>келарь</i>
Брат Клемент	<i>служит в скриптории и библиотеке</i>
Брат Фиделис	<i>садовник, особенно пристрастен к розам</i>
Брат Питер	<i>заботится о лошадях</i>
Брат Марк	<i>пчеловод</i>
Брат Стивен	<i>управляющий фермой</i>
Брат Мартин	<i>привратник</i>
Брат Паулин	<i>садовник</i>
Брат Доминик	<i>госпиталий, или странноприимный монах</i>
Брат Пруденций	<i>работает на ферме</i>
Брат Бэзил	<i>престарелый брат, помогает в странноприимном доме</i>
Брат Бернард	<i>учится на келаря</i>
Брат Герман	<i>работает на ферме</i>
Отец Жерар	<i>елемозинарий</i>

Послушники и постуланты

Брат Томас	<i>личный помощник аббата; кроме того, работает на ферме</i>
Брат Френсис	<i>работает в самых разных местах</i>
Брат Теодор	<i>основная работа — переписчик и иллюстратор рукописей</i>
Брат Кормак	<i>работает на кухне</i>
Брат Таddeус	<i>работает в самых разных местах</i>
Брат Ричард	
Брат Дамиан	
Брат Джозефус	
Аллен Хауик	<i>позже — брат Джеймс</i>

Больные или престарелые братья, живущие в лазарете

Брат Денис	<i>бывший пчеловод</i>
Отец Элред	
Отец Анселм	
Отец Пол	
Отец Джералд	
Отец Лукан	

Усопшие братья, которые упоминаются в книге «Сокол и голубь»

Отец Грегори *прежний аббат общины*

Помощники в общине

Мартин Джонсон *наемный слуга, работает
в лазарете*

Люк *помощник повара*

Саймон *помощник повара*

Глава первая



В ЭТИХ ИСТОРИЯХ

Никогда не забуду, как умира-
рала моя подруга Мэгги.

Однажды субботним вечером до меня до-
шли слухи, что в ее доме случился пожар, а
сама она попала в больницу. Я поспешила к
ней, отменив свои планы. В палату меня не
пустили: там находился доктор. Пришлось
дожидаться в комнате, где хранились старые
стулья и прочая мебель. Вскоре появился пол-
ный, светловолосый священник, он с встрево-
женным видом шел по коридору в поисках
медсестры. Это был отец Майкл, из церкви,
которую посещала Мэгги. Мы с ним посиде-
ли вместе в тесной, заставленной комнате,

обменялись новостями, обрывками сведений, которые до нас долетели. Потом помогли медсестре заполнить анкету Мэгги, перебирая в памяти подробности ее несчастной и одинокой жизни.

Тут через коридор быстрым шагом прошагала монахиня в развевающейся накидке и напрямик направилась в палату интенсивной терапии, в которой лежала Мэгги. Это оказалась сестра Кэтлин, ирландка, одна из ее подруг по общине. Монахиню тоже не впустили, так что мы стали дожидаться втроем, чувствуя, как внезапно и странно сближает нас общее напряжение ситуации.

Наконец пришел доктор. Он объяснил, что Мэгги очень плоха. Тело обожжено то ли на семьдесят, то ли на восемьдесят процентов. Правой ноги, как и правого бока, почти не осталось. По мнению доктора, нам не стоит заходить в палату. Медсестра поспешила поддакнуть, сказав, что зрелище просто ужасное — даже для нее. После такого совета у меня словно гора с плеч свалилась. В конце концов, чем мы могли помочь? Мэгги все равно была без сознания.

Священник, не без явного облегчения, согласился. Сестра Кэтлин молчала. Но когда доктор, пообещав держать нас в курсе событий, ушел, она спросила:

— Отец, разве ей не полагается елеопомазание?

Ну, да... Конечно же, полагалось. Мы снова нашли медсестру и поговорили с ней. Перед смертью над Мэгги следовало прочесть молитвы, помазать ее елеем, благословить, отпустить грехи. Сестра Кэтлин решительно заявила, что тоже хочет помолиться, сидя у постели умирающей. Следом за ней вызвалась и я. До меня вдруг дошло: просто сбежать из больницы — совсем не дело. Медсестра ответила, что пойдет и спросит. Уточнила только, какое именно место отец Майкл собирается мазать елеем? Он ответил, что чаще всего мажут лоб. Медсестра задумчиво нахмурилась: мол, там и кожи-то не осталось. Ушла, вернулась через минуту. Да, говорит, немного есть, действуйте. Мы со священником молча переглянулись. По его лицу пробежала еле заметная судорога. Думаю, он, как и я, весь похолодел от ужаса. А вот что испытывала

сестра Кэтлин, не знаю. Она уже бесстрашно шагала в палату интенсивной терапии, где лежала Мэгги, укрытая простыней. Снаружи осталось одно лицо и прозрачные трубочки многочисленных капельниц.

Сама не знаю, что именно я ожидала увидеть, наслушавшись доктора. Наверное, что-то вроде подгоревшего тоста. Но это была наша Мэгги, только и всего. Опухшее лицо, обожженные волосы, облезшая или обуглившаяся кожа... И все-таки, вне сомнения, это была она. Я словно видела ее душу. Не то чтобы перед глазами возникло таинственное мерцание, нет. Я говорю о том, что мой дух ощутил, безошибочно узнал и воспринял детскую, нежную сущность Мэгги, сиявшую сквозь неподвижное, обгоревшее тело под простыней. Отец Майкл помазал ее елеем, и мы, прочитав молитвы, пошли по домам.

Она дожила до утра.

Укорив себя за то, что не осталась в палате, я вернулась в больницу и попросила разрешения побыть с ней. Мэгги... Она так боялась умереть в одиночестве.

— Можете подержать ее за руку, — произнесла медсестра. — Только садитесь с этой стороны кровати: тут еще сохранились остатки ладони.

И снова холодный ужас перехватил мое горло. Что значит «остатки»? Медсестра подняла простыню, и я увидела руку Мэгги. Просто — руку Мэгги. Да, обожженную, большей частью без кожи, но знакомую. Так я и держала ее ладонь, пока Мэгги не скончалась.

Всегда буду благодарна непоколебимой смелости той ирландской монахини, которую не смутили ни страшные речи медиков, ни незнакомая обстановка, ни собственные инстинкты: страх и брезгливость, потому что она нашла в себе мужество думать о главном — о человеке. Мэгги нуждалась в нас, и не только в нас, но и в Господе, а тогда странным образом это означало одно и то же.

Из больницы я ушла к морю, потому что была не готова вернуться домой, мне хотелось побыть одной. Следя взглядом за прибоем, который обрушивался на галечный берег, я видела пену на гребнях волн и вместе с тем не видела ничего. Сидела на берегу — и в то

же самое время продолжала переживать мистическое присутствие смерти: трепет, благоговение, ужас... Губы все еще хранили холод мертвого лба, к которому прикоснулись на прощание. Глаза по-прежнему созерцали резкий силуэт профиля, лишённого игры света и теней, не смягченного беспрестанным внутренним движением, биением пульса, дыханием жизни. Один, один только раз пальцы подруги шевельнулись в моей руке, в то время как кислородная маска еще помогала не разорваться истончившейся ниточке бытия. Тогда я подумала: вдруг услышит? И тихо, не для ушей медсестры, прошептала:

— Прости нас, Мэгги. Прости...

Возможно, все обернулось бы иначе, останься я с ней в тот вечер. Возможно, я бы предотвратила ту роковую глупость: разлитый бренди, брошенный небрежно окурок... Как знать? Была бы мама жива, мы бы поговорили об этом. Мама всегда понимала мои вопросы, даже не высказанные вслух, и мою печаль, даже заглушенную голосом раскаяния. В детстве я прибегала к ней с любыми бедами. Как сейчас помню: вот она на кухне, моет тарелки,

нарезает картошку или помешивает сладкий заварной крем, молча выслушивает меня, задумывается и, наконец, произносит:

— Я знаю одну историю...

И рассказывала чудесные истории, от которых узел моих сердечных страданий ослабевал и распутывался, а в жизни опять появлялся смысл.

Чаще всего в ее повествованиях упоминался монах четырнадцатого столетия по имени Перегрин Дюфайе. Он был хромоногим калекой, с ужасным шрамом на лице и скрюченными кистями рук, и при этом служил аббатом в общине Святого Алкуина, на окраине стылых болот Северного Йоркшира. Судьба обошлась безжалостно с телом этого человека, однако дух его формировался под влиянием Божьего милосердия и доброты. Изувеченные руки Перегрин были мало на что способны; зато он воочию убедился, какие могущественные чудеса может творить Бог через человека, познавшего страшную боль. Братья, служившие Господу под его началом, любили и почитали своего аббата. Немало ходило историй о том, как он обращался с ними,

что говорил и что делал. Рассказы эти никто не записывал, они передавались из уст в уста, от поколения к поколению.

Первой, кто начал их собирать, стала женщина, похожая на Перегрину, а точнее говоря — его дочь, хотя аббат никогда не распространялся об этом. Еще до вступления в монастырскую жизнь он сблизился с одной девушкой и оставил возлюбленную, сам того не зная, уже беременную. Родившуюся девочку, Мелиссу, воспитывал отчим. Своего настоящего отца, аббата Перегрину, она случайно встретила много лет спустя, когда уже стала молоденькой женщиной. Знакомство это подарило ей покой и умиротворение, знание собственных корней. Мелисса полюбила отца всей душой, часто навещала его в общине и охотно слушала рассказы о нем других монахов.

Очень ей нравилась, к примеру, история его имени. Приняв на себя первые обеты, в знак отречения от всей прошлой жизни, он был наречен Колумбой, что в переводе с латыни означает «голубь». Перегрином же, или «соколом», его при рождении назвала мать, сразу

поняв, что малыш унаследует гордую, свирепую, хищную внешность отца — и не ошиблась. Братьев из общины аббатства Святого Алкуина весьма потешало это неподходящее имя — Колумба, и они продолжали величать аббата так, как его нарекли при крещении, — Перегрином. Мелисса обожала эту историю, потому что видела в отце и ту, и другую натуру: и голубя, и сокола. Временами, в минуты гнева, аббат и вправду был грозен, однако была в нем и нежность, особая благодать, усвоенная в школе горьких страданий. Словом, имя Колумба ему подходило не меньше.

Кстати, меня тоже зовут Мелисса. Это семейное имя: вот уже несколько веков, начиная с дочери Перегринна, оно время от времени повторяется в нашем роду. Прежде так же звали мою прапрабабушку. Мама не хотела, чтобы имя исчезло из нашего рода, и, когда я появилась на свет, окрестила меня Мелисой. Совершенно не представляю, как бы она выкрутилась, если бы вместо меня родился мальчик.

Словом, истории передавались в нашей семье сотни и сотни лет, и вот моя мама

услышала их от своей прабабушки, полюбила и, в свой черед, поделилась со мной.

Для этого маме пришлось дожидаться, пока мне стукнет пятнадцать: ведь маленьким детям подобного не рассказывают. В историях говорилось о человеке, который, переживая утраты, познал вкус тоски, боролся с отчаянием. Мама ждала, когда мне станет мало удобного, тихого, уютного мира; когда я, поняв, как зыбко и ненадежно все внешнее, сама пожелаю встать на твердую почву истины, — и лишь тогда начала выкладывать передо мной драгоценные воспоминания давным-давно усопшей Мелиссы о любимом отце. Перегрин был знатным человеком, сыном богатого дворянина, и уже одно это, сказать по чести, мне нравилось: вот уже много поколений, как в нашем роду не встречалось аристократов. Мои мама с отцом еле-еле сводили концы с концами; правда, это из-за того, что они — скорее по вере, нежели от большой мудрости — завели сразу пятерых деток.

Когда мне пошел пятнадцатый год, моей старшей сестре Терес было шестнадцать, а Мэри и Бэт — соответственно, восемь и шесть.

Самой младшей, Сесили, стукнуло только три, но она всеми силами привлекала к себе внимание, «как большая». Папа называл ее «крохотной валькирией», а мама и вовсе не находила слов для описания этой малышки, только молча качала головой. Любой трехлетний ребенок способен поднять тарарам, когда разойдется, однако я никогда встречала равных в этом нашей Сесили.

Впрочем, теперь она выросла, и знаете, мало что изменилось!

В ту пору мы жили в домике, что лепился к скале у моря, и я мысленно переносилась туда, вспоминая истории, впервые услышанные от мамы в пятнадцать лет. Сестренки тоже любили слушать про Перегрину, однако не так, как я. Мы с мамой жили где-то между реальностью и нашим воображением, время от времени путая эти миры. Я и сейчас их путаю.

Говорят, будто школьные деньки — лучшие в жизни человека. Но для меня счастливейшим днем стал тот, когда я в последний раз вышла за школьные ворота и навсегда отвернулась от них. В моем понимании тогдашняя жизнь состояла из выходных, разделенных

пустынями будней, словно редкие бусины на четках, между которыми протянулись длинные нити. Возможно (нет, даже наверняка!), учителям со мной приходилось туго (и, надо сказать, они не жалели усилий, чтобы донести до меня эту мысль), но головная боль, которую я им доставляла, ничто по сравнению с несчастьями, которые они приносили мне.

Вам приходилось когда-нибудь получать один из этих ужасных «шуточных» подарков? Знаете, такая большая, заманчивая коробка, открываешь ее — а там еще одна, внутри нее — третья и так далее, вплоть до самой последней, в которой ничего нет? Вот так и у меня получилось со школой. Один бессмысленный день тянулся вслед за другим, обещая знания, на самом же деле предлагая академическую муштру, а внутри — пустота.

Перед глазами встает лицо директрисы, ее завитые седые локоны над выпуклым лбом, глаза, как у тухлой трески, и ее кримпленовые доспехи, которые она носила под своей академической мантией.

Научилась я мало чему. Понятия не имею, где находится Гибралтарский пролив, и толь-

ко в прошлые выходные узнала, чему равняется квадратный корень из девятистот. Зато я точно помню, когда именно открыла последнюю «шуточную» коробку и обнаружила в ней пустоту, после чего подняла подвесной мост крепости своей души и уже ничего не воспринимала от этих учителей (хотя пришлось терпеть школу еще два года). В тот день нам сообщили результаты экзамена по английскому языку. Во многих предметах я разбиралась плохо, но уж английский-то *знала* прекрасно. Приложив все старания на экзамене, я надеялась на благоприятный исход. А получила всего пятьдесят четыре процента — то есть еле-еле сдала. Так и вижу перед собой деревянную парту, испещренную нацарапанными надписями, высокие окна в стиле викторианской эпохи и учительницу, объясняющую, что она *ничего* не поставила за содержание моего эссе, только за пунктуацию и орфографию. Содержание, дескать, показалось ей аморальным. По словам учительницы, сначала она подумала, будто читает историю о любви, но вдруг оказалось, что это речь о Боге.

Смешно вспоминать (в смысле, странно, а не забавно), как глубоко меня ранили эти

слова, заставившие плотно захлопнуть ставни на окнах моей души. Теперь-то я понимаю: где ей, бедняжке, было знать, что не только мое эссе, но и вся моя биография станет историей о любви, о нежном и страстном Господе.

Итак, я чувствовала себя живой только вечерами и по выходным, черпая знания не из учебников по математике и географии, а из маминых рассказов, получая мудрость веков, завернутую в увлекательные истории, которые мама когда-то услышала от Мелиссы, своей прабабушки.

Вот некоторые из них.



Глава вторая



Ну, и кто теперь глупец?

Рассказы из жизни и песни существуют для пасмурных дней, а также для вечеров у костра. Предложите мне особняк с центральным отоплением и всеми удобствами, с дорогой стереосистемой, цветным телевизором и роскошной ванной — я не отдам за него свои детские воспоминания о вечерних кострах под звездами.

О том, как младшие девочки — Мэри, Бэт, крошка Сесили — плясали ирландскую джигу под магнитофонную запись, крутятся и подпрыгивая, — тонкие силуэты на фоне пламени. С какой счастливой улыбкой Мэри

следила за искрами, плывущими в небо с дымом. Она называла их «феечками огня». Как мы скакали, до хрипоты распевая: «У дядюшки Аврама сорок сыновей»...

А подле костра, на специально выложенных по кругу больших камнях, сидели наши друзья и родные. Мама с папой, бабушка, дядя, тетя... Дедуля обычно располагался на складном стульчике, обмотав голову розовым полотенцем — чтобы мошкара не кусала. Такие знакомые и обычные днем, в наползающих сумерках родные становились похожими на сказочных или мифологических персонажей из другой эпохи. Доброе пламя укрывало от взгляда всякие неважные мелочи. Например, в голубой или в белой куртке сегодня бабушка, модные ли брюки на тете, зато подчеркивало другие подробности: мы начинали видеть, какое доброе лицо у дедули, как безмятежна и мудра наша бабушка. Папа с длинной бородой сам по себе напоминал целую историю из Ветхого Завета.

Люди думают, будто электричество помогает зрению, но это не так.

Все видится иначе, и только. Конечно, при лампочке проще сделать уроки или испечь пи-

рог, а вот люди куда больше похожи на себя настоящих при свете костра или свечей.

— Технологии созданы человеком, в них нет души, — часто повторяла мама.

— Да ты просто поклонница огня, — отвечал ей отец. — Свечи, костры, камин в доме... Может, заведем центральное отопление, как все прочие?

— Все прочие? Кто это? И при чем здесь я? — возражала она. — Пламя, земля, ветер, волны нужны мне, как пища. Посели меня на улице из электрических проводов, кирпича, заборов, бетона — и я с ума сойду без огня, почвы, берегов и моря. Моя душа сразу высохнет и побледнеет. А зачем мне худая, обескровленная душа?

— Ладно... — Папа знал, когда сдаться. — Проживем без центрального отопления.

Вылазки на природу давали нам этот важный заряд от общения со стихиями. Было у нас любимое место среди йоркширских холмов, защищенное от ветра шелестящими кронами высоких деревьев, у мелкой речушки, где кумжа*

* Кумжа — рыба из семейства лососевых. — *Здесь и далее подстрочные примечания принадлежат переводчику.*

плавала между камней, под спящими бликами солнца, пробивающегося сквозь листву. В ясные дни мы лежали на траве, читали книжки, рассматривали комиксы, ели персики, шоколад и французские булочки. Дождливыми вечерами — кутались в одеяла в палатке, слушая, как барабнят капли по тугому навесу над головой. В непогожие дни — пили обжигающий чай с горячей хрустящей картошкой из деревенской лавки, наблюдая, как расползаются тучи и как прекрасны омытые ливнем холмы, как прозрачен и чист между ними воздух, пьянящий, словно вино евхаристии.

Разве в городе дождь разглядишь? Если только мельком заметишь, что с неба каплет, или нечаянно вымокнешь по дороге... Там нет раздолья, чтобы увидеть туманную голубую завесу, колеблемую ветром, что немолимо надвигается на долину. А величавый небесный простор и флотилия грозных туч, собирающихся вместе перед решающим боем! Нет, в городе бывает «пасмурно» или «ясно», «тепло» или «холодно» — вот и все. Осеннее золото, серебро дождя не имеют здесь никакого значения. Из дома, где я

живу сейчас, открывается вид на серую, ровно отштукатуренную стену с вентилятором вытяжки, узким окошком и синей дверью, а с другой стороны — на беспорядочное нагромождение сараев, теплиц и натянутых между ними бельевых веревок. Но в памяти живы праздники детства, костры у ручья под звездами. Как и мама, я до сих пор стараюсь питать свою душу пламенем и водой, землей и воздухом, чтобы душа не иссохла и не поблекла.

Папа шутил, что для нас, детей, нет особой разницы: ночевать на природе или остаться дома, в любом случае спать приходится на матрасах. Когда пять девочек живут в доме на две спальни, без этого не обойтись. Зимой, например, мы сдвигали свои матрасы, чтобы во сне согреть друг друга. Так что ночевки на природе не представляли для нас неожиданных трудностей. Вечерами дедушка разжигал керосинку и грел походную плитку, а мама раскладывала костер.

Как-то раз мы с мамой сидели вдвоем у огня... Папа в палатке укладывал спать малышей, рассказывая им, как небо упало на

Чикен-Ликена*, а Терес ушла с бабушкой и дедушкой за молоком. Кажется, это было начало недели, не помню, присоединились ли к нам уже дядя и тетя.

— Расскажи про монахов и про отца Перегрин, — попросила я. — Ты уже сто лет ничего о них не рассказывала!

Погода выдалась ясная, теплая. Пламя весело полыхало, щедро подкормленное хворостом и сухими опавшими ветками, которые мы собирали весь вечер.

— Правда? Ну, надо же! Ладно, дай-ка подумать...



Помнишь брата Томаса? Не забыла еще, как отец Перегрин, избитый и искалеченный, с переломанными кистями рук, отчаянно силился похоронить глубоко в себе страх, тоску и ужас, не выпускать их наружу, и ему это почти удалось? Но один молодой послушник

* Чикен-Ликен — персонаж из народной сказки — цыпленок, поверивший в непосредственную близость конца света. Выражение «Небо упало!» вошло в поговорку.

нашел в себе мужество обнять его и позволить выплеснуть из души свое горе. Вот и брат Томас тоже не забывал об этом моменте. Воспоминание сохранилось в самом нежном, таинственном уголке его сердца, но он никогда ни с кем этим не делился. Ведь человеку труднее всего говорить о сокровенном. Брат Томас восхищался аббатом, почитал его за справедливость и прирожденную способность властвовать, а любил — за кротость и милосердие, чего у Перегриня тоже было не отнять. Однако в самой основе привязанности лежало воспоминание о том, как он, утешая, обнимал отца Перегриня, горько рыдавшего: «Господи, как я теперь без рук?»

Итак, речь пойдет о брате Томасе. Впрочем, его почти все звали Томом (время от времени даже отец Перегрин, когда забывался). Как ты знаешь, парень этот был бойким и добрым. До того как он оказался в монастыре, он принимал жизнь с распростертыми объятиями, куда чаще смеялся, чем плакал, умел наслаждаться вином и обществом женщин, песнями, вкусной едой, так что монастырские порядки стали для него тяжким, иногда просто непереносимым испытанием. И все

же Том настолько любил Господа Иисуса, что твердо решил следовать своему призванию. Правда, случалось, он со страхом подумывал: а вдруг Бог пошлет его служить куда-нибудь еще, например, за море, или просто в другое аббатство? Сможет ли он покинуть своего настоятеля? Ведь если Господь призвал его в монастырь, то удержал его там отец Перегрин (по крайней мере, Тому так виделось). С другой стороны, говорил себе молодой монах, Бог уже проявил Свою волю, послав его именно сюда, а значит, почитать вышестоящего значило в какой-то мере чтить Самого Господа, хотя... Тут бедный мозг Тома окончательно уставал от сложных рассуждений. Брат знал одно: он любил своего аббата, понимая как его слабости, так и силу. Вообще-то говоря, эти двое многое вместе перенесли. Пока Том был послушником, с ним произошла одна скверная история, касающаяся девушки (об этом как-нибудь в другой раз), и, если бы не страстное заступничество отца Перегрина перед старшими в общине, молодого человека изгнали бы навсегда. Сказать по правде, при всей своей привязанности к настоятелю, брат Том причинял ему куда больше хлопот, неже-

ли все прочие, вместе взятые. Не раз и не два Том пятнал свою честь набегами на кладовую с едой под покровом ночи, а его неутомная тяга к разным проказам, да еще в сочетании с изобретательным озорством брата Френсиса, то и дело приводила к нарушению порядка и навлекала на парня немилость.

Отцу Перегрину слишком часто приходилось просить за него, выручать его из беды, увещевать, выслушивать, укорять, возносить молитвы за него и назначать ему порку. И порой у аббата мелькала мысль: не проще ли было бы Тому сдаться, оставить борьбу против собственной же природы и спокойно вернуться на ферму к родителям, которым так не хватает сына? Трудно сказать, кто из них двоих сильнее удивился, когда брат Томас окончил период послушничества (протянувшийся вдвое дольше обычного из-за той истории с девушкой) и принес торжественные обеты перед общиной, согласившейся принять нового монаха в свои ряды.

Опасаясь отпускать его надолго из виду, отец Перегрин назначил Тома своим личным помощником. В обязанности молодого

человека входило содержать жилище аббата в порядке, прислуживать ему за столом и помогать с делами, трудными для искалеченных рук. К примеру, он брил настоятеля по утрам, закреплял застёжки сандалий, препоясывал рясу.

Разумеется, после принятия обетов некоторое время все шло как по маслу. Сознание того, что теперь он стал полноценным монахом-бенедиктинцем, здорово отрезвило Тома, и он целых шесть недель держался с таким напускным достоинством, что постоянно вызывал улыбки у отца Перегрини и навлекал на себя насмешки брата Френсиса (тот принял обеты три месяца назад и уже утратил серьёзность и трепет, посетившие его тогда).

Однако жизнь шла своим чередом, и телесные искушения неотвратимо, словно колокольчики по весне, вновь расцвели бурным цветом. После недели поста, усердных молитв и самобичевания в келье брат Томас выкрал ключи от подвала, нашёл там самый большой бочонок вина и напился до беспамятства. Брат Кормак, обнаруживший нарушителя, попы-

тался его усостить, — и, как оказалось, напрасно, ибо в благодарностъ за свое рвение остался с расквашенным носом. Брат Эндрю, начальник брата Кормака по кухне, доложил о проступке отцу Перегрину, кипя от гнева. Смертельно устав от проделок своего личного помощника, Перегрин в сердцах велел окатить Тома холодной водой из ведра и запереть в монастырской тюрьме на всю ночь, чтобы протрезвился.

Поутру, виновато моргая покрасневшими глазами и беспрестанно чихая, брат Томас предстал перед общиной и получил свою епитимью, которая, учитывая особые печальные обстоятельства дела, заключалась в обычной порке.

Отец Перегрин питал отвращение к телесным наказаниям; печалась и досадуя, когда Том преклонил перед ним колени, он проговорил с необычным для него жаром:

— Ну, и *глупец* же ты, брат! Община благоволит к тебе, а ты *плюешь* на ее законы. Тебе доверяют, но наше доверие для тебя — ничто. Ты глуп, как пробка, брат, ибо любой благосклонности приходит конец. Ты предал наше

доверие, собственное призвание, опорочил доброе имя дома сего своими нелепыми выходками. Глупец!

И он сердито сверкнул очами. Брат Том смиренно склонил больную голову перед гневом аббата. Обоим им было тошно в эту минуту: любовь друг к другу жалила их сердца, точно острый шип. Отец Перегрин злился, потому что был очень привязан к Тому, хотел, чтобы молодой монах хранил верность призванию, и не желал посылать его на порку. А Том бесконечно страдал и стыдился себя: опять он подвел аббата, который был с ним так терпелив и добр.

Итак, брат Клемент, избранный для исполнения этой работы (он служил в скриптории и библиотеке, редко имел дело с братом Томасом и мог сохранить беспристрастность, в отличие от остальных), встал над ним с плетью в руке. Сняв рясу и нижнюю рубашку, коленопреклоненный Том нагнулся, подставляя обнаженную спину. Как ни силился Перегрин сохранить суровое выражение на лице, тут он потупил взгляд и страдальчески сморщился.

— Отец... — Брат Клемент замешкался.

Спина брата Тома уже была вся в багровых следах от немилосердного бичевания, которому тот подвергал сам себя, борясь с искушениями.

Увидев это, аббат воскликнул:

— О, нет! Давайте закончим на этом. Нет-нет, я против того, чтобы прибавлять раны к ранам. Возвращайся на свое место, брат Томас. В наказание ты три дня проживешь на сухарях и воде, которые будешь вкушать на коленях в трапезной, отдельно от прочих.

На третий из этих дней Том пришел в жилище настоятеля, чтобы, как обычно, прибраться там и подмести полы.

— Пошли вам Бог доброго дня, отец, — любезно поздоровался он.

Отец Перегрин рассеянно покосился на помощника и, буркнув что-то в ответ, снова хмуро уставился на письмо у себя в руке, нервно покусывая губу. Том подметал, а сам озадаченно наблюдал за ним краем глаза. Наконец аббат положил письмо на стол, погрузился в раздумья, потом опять поднял дорогой пергамент тончайшей выделки, исписанный изящным почерком.

— Ах, он, хитрый дьявол! — вырвалось внезапно у настоятеля. — Вот, прочитай, брат. Это мне от приора Уильяма, из приората Святого Дунстана. Августинский монастырь, ты знаешь. Меня самым учтивым тоном приглашают принять участие в собрании — точнее сказать, в дебатах, касающихся природы Господа: что выше — Его справедливость или Его милосердие.

— А что не так? — спросил Томас, протянув руку за пергаментом.

— Да ведь он люто ненавидит меня! До приората Святого Дунстана нужно три дня скакать верхом на юго-запад, а собрание начинается ровно через три дня. Если Уильям прислал это приглашение — тут дело нечисто. Гостеприимство совсем не в его обычае; он любой ценой старается избежать лишних трат. Если я хочу попасть вовремя — нужно теперь же пуститься в путь и ехать без передышки. Да и откуда вдруг этот интерес к милосердию и справедливости Божьей? Насколько я помню, прежде Уильяма подобные вопросы не занимали. Не-е-т... Он что-то замышляет. И рассчитывает на мое опоздание. О, это одаренный

политик, прекрасно знающий, как управлять людьми, а вот богослов — неважный. Что бы там ни задумал приор, мое отсутствие окажется ему на руку. Он точно знает, что во время дебатов я легко положу его на обе лопатки.

Отец Перегрин помолчал, давая Тому возможность прочесть письмо, а потом воскликнул:

— Нет, я не доверяю этому прохвосту! Едем! Я должен выяснить, *что* у него на уме.

Брат Томас удивленно поднял глаза:

— Но, отец, как вы собираетесь... в смысле, разве вы сможете..?

— Сесть на коня и не свалиться? Так? Посмотрим. Найди отца Чада и брата Амброза. Седлай коней, подготовься к долгому путешествию. Только не медли. Конечно, ты едешь со мной. Думал, я оставляю без присмотра такого глупца и пропойцу?

Брат Питер, конюх, серьезно задумался над указанием аббата:

— Когда-то вы были прекрасным наездником. Руки — это еще полбеды; а вот сможете ли вы обхватить круп ногами после двух лет

хождения с костылем? Мускулы-то ослабли. Да и колено не гнется. Не знаю, не знаю... На мой взгляд, приехать по уши в грязи — не лучший выход в такой ситуации. Что скажете, если мы вас привяжем? По глазам вижу — недовольны. А все-таки? Кажется, лучшего выхода нам не придумать.

В конце концов аббата как можно крепче прикрутили к седлу, и к полудню группа всадников тронулась в путь. Скакать пришлось до позднего вечера, ночевать — под звездами, под сенью полевой изгороди, а утром, еще до света, — снова в дорогу. На другую ночь странники попросили приюта в аббатстве Святой Клариссы, где их приняли с теплотой и сердечностью. После щедрого ужина монахи успели провести вечерню с добрыми сестрами и пошли ночевать в гостевой домик.

По дороге брат Томас нарушил Время молчания, прошептал:

— Отец, не пора ли заняться вашими руками? Брат Эдуард велел мне растирать их каждый день и даже дал с собой масло. Вчера я уже не исполнял своих обязанностей. Но, может, сегодня?..

Перегрин покачал головой:

— Не теперь. Сейчас — Время молчания, да и нам нужен сон. Утром рано вставать. Благодарю тебя, но оставим это.

— Отец...

— Довольно. У нас — молчание.

Том тяжело вздохнул и уступил. Прекрасно зная аббата, он понимал: тот и так уже уязвлен тем, что его приторачивают к седлу, словно тюк с вещами. Гордость Перегринна и без того страдала весь день, чтобы он позволил кому-либо лишний раз напоминать о своей беспомощности. Настоятель держался натянуто — должно быть, его хромая нога ужасно болела. С тех пор как ее изувечили, аббат еще ни разу не садился в седло. С тревогой посмотрев на его усталую позу, Том решил попробовать снова и тихо взмолился:

— Отец...

— Нет.

И они отправились спать.

Любезные сестры собрали странникам большую суму с едой в дорогу, и сразу же после обедни монахи вновь оседлали коней.

Покрыв немалый отрезок пути за первые два дня, теперь они не сомневались, что прибудут на место еще до вечерни. Брат Том с отцом Чадом скакали бок о бок, радуясь переменчивому пейзажу и возможности поговорить. Настоятель держался от них поодаль, в беседы почти не вступал и вообще явно был не в духе. В полдень всадники остановились, чтобы напоить коней и подкрепиться, пока те щиплют придорожную травку.

— Отец, вы позволите? Ваши руки? — подал голос брат Том.

Три дня напряженной работы с поводами сделали свое дело; от внимания помощника не ускользнуло, с каким трудом аббат ломает хлеб и подносит ко рту ломти мяса.

— Не теперь, — повторил Перегрин. — Мы должны спешить. Я хочу быть на месте еще до вечера. Приор Уильям — коварный и бессердечный лис. За этими дебатами явно что-то кроется. Он хочет придать своей затее вес и только поэтому приглашает меня; но письмо отправляет с таким расчетом, чтобы я опоздал или совсем не приехал, а потом даже не имел возможности посетовать, что не был заранее

извещен. Вот увидите, он постарается избавиться от моей компании во время утреннего изучения и застольной беседы. Но это мы еще посмотрим.

— Значит, ему известно, что вы... что с вами не все... что вас искалечили? — спросил отец Чад.

— Даже не сомневаюсь. Не от меня, конечно... Обычно человек стремится узнать о предмете своей любви все, что можно; но ненавидящий знает еще больше. А Уильям меня ненавидит так сильно, что, честное слово, даже не по себе становится при мысли об этом. Я пару раз побеждал его на богословских диспутах; он мне это не простил. Впрочем, довольно болтать, нам пора. Только бы не опоздать!

И вот, сразу после девятого часа, запыленные и усталые, они подъехали к большому серому каменному мосту, опущенному на цепях через внушительный ров, опоясывавший приорат Святого Дунстана. Гостей приняли со всей учтивостью; сам приор, извещенный об их прибытии, поспешил к ним навстречу, пока наемный слуга уводил их коней на конюшню.

Первым делом Уильям приветствовал братским целованием отца Перегрина, потом отца Чада. Брата Томаса, что нес их поклажу, он практически не заметил. Во время исполнения этих формальностей Том всматривался в лицо приора — вытянутое, подвижное, умное, с тонкими губами, почти бескровное. Самой выразительной чертой лица Уильяма были водянистые голубые глаза под седыми бровями. Преждевременно посеребренные волосы усиливали ощущение суровой холодности, исходившей от этого человека, и хотя рот его изогнулся в улыбке при виде отца Перегрина, но голос — медоточивый, чуть ли не женский, — едва не заморозил Тома на месте.

— Отец Колумба! Для вас уже приготовлены покои — на втором этаже в северном крыле гостевого дома.

— На втором? — вмешался Томас. — Господин, тут, должно быть, какая-то ошибка.

— Оставь это, брат, — поспешил одернуть его Перегрин.

Однако приор Уильям успел расслышать вопрос и обратил взгляд на молодого монаха.

Том ощутил укол паники, словно маленький вкусный зверек под смертоносным и гипнотическим взглядом хищника. И вновь этот вкрадчивый, приторный, пугающий, почти женский голос:

— Какие-то затруднения, сын мой?

— Он же... он же хромает, мой господин, вы сами видите, — пробормотал, запинаясь, брат Томас.

— А мне показалось, — проворковал Уильям с кривой усмешкой, — что человек, стремительно покрывший верхом столь приличное расстояние, не такой уж и калека, как мы тут думали.

Перегрин и Чад промолчали, но Тома уже понесло.

— А если так, мой господин, — выпалил он, — почему же вы не послали приглашение раньше?

Веки над бледно-голубыми глазами чуть дрогнули, но приор продолжал улыбаться.

— Хотите, я прикажу приготовить вам новую комнату, этажом ниже? — осведомился он, так и впившись глазами в Перегрину.

Тот хмуро выдержал его взгляд («Словно орел, повстречавшийся с ядовитой змеей», — подумалось Тому) и отчеканил:

— Да нет, спасибо. Верхний этаж вполне подойдет.

Уильям издевательски поднял бровь:

— Ну, если вы в этом уверены, брат мой...

— Уверен, — отвечал Перегрин. — Прошу вас, не утруждайте себя, отец приор. Я отлично помню дорогу к странноприимному дому.

Мужчины учтиво раскланялись. Уильям отправился встречать еще одну группу гостей, въехавшую в это время на мост, а монахи общины святого Алкуина пошли размещаться в отведенных для них покоех.

— Простите, что спрашиваю... — Отец Чад осекся под мрачным взглядом своего аббата.

— Да?

— Простите, что спрашиваю, но *как* вы будете подниматься по лестнице?

— Задом наперед, — сухо обронил Перегрин. — Лишь бы не у всех на глазах, — прибавил он, блеснув короткой улыбкой.

Каменная лестница странноприимного дома не представляла особых трудностей. Отец Перегрин садился на узкую крутую ступень и, отталкиваясь здоровой ногой, перебирался на следующую. Том, стоявший рядом с вещами, не смог удержаться от неподобающей ухмылки, она так и расползлась по лицу при виде столь забавного действия.

— Стыдись, брат, — одернул его отец Чад, державший костыль. — Нашел над чем скалить зубы!

Но Перегрин только улыбнулся:

— Не кори его. Если не ошибаюсь, скоро нам всем будет не до смеха.

Вечером он отказался идти на ужин, однако послал туда своих спутников:

— Держите ухо востро, слушайте в оба и примечайте, кто будет за столом. Увидимся позже. Мне хватит хлеба и мяса, которыми снабдили нас добрые сестры, там еще что-то оставалось. А я сейчас не в настроении поддерживать вежливую беседу. Все тело ломит.

Том набрал в грудь побольше воздуха:

— Отец, *пожалуйста*, позвольте после ужина позаботиться о ваших руках! — Подняв

умоляющие глаза, помощник прочел на лице аббата столько душевных мук, вызванных унижением и беспомощностью, что у него засосало под ложечкой.

— Благодарю, — тихо сказал Перегрин. — Если тебе не трудно. Они совсем перестали слушаться.

— Хорошо, тогда сразу после ужина! — Обрадованный Том повернулся к выходу вслед за отцом Чадам, но тут аббат окликнул его:

— Брат! Можешь сказать: «Я же говорил!», — я не против.

Томас улыбнулся, понимая, что Перегрин просто хочет защитить свое пошатнувшееся достоинство, вот и отшучивается.

— Ну-у-у, я бы не посмел, — протянул он в ответ. — Нипочем не посмел бы.



Большинство собравшихся за длинным резным столом приора Уильяма Том видел в первый раз.

— Это настоятель Хью, из цистерцианцев, — шептал ему отец Чад. — Их аббатство к

востоку от нас. Впрочем, вы уже как-то встречались. А вот как зовут приора, сейчас не могу припомнить. Тот бородач, судя по облачению, явно один из наших, но я его раньше не видел. Худой нервный тип рядом с ним — аббат Роджер, цистерцианец из Уитби.

— А это кто? — Том кивнул в сторону толстого, как бочка, бенедиктинца, раскатисто хохотавшего над рассказом соседа так, что все его гладко выбритые подбородки тряслись от смеха.

— Как? Ты не помнишь? Он у нас останавливался. Это аббат Гийом из Бургундии. Он знает отца Перегриня, по-моему, с детских лет и весьма высоко его ценит. Как ученый муж этот аббат бесподобен, а как духовник — действительно мудр и свят.

— И, видно, обжора немалый, — заметил брат Томас.

Всего за столом присутствовало семь глав обителей. Трое из них тоже приехали со своими приорами. Было еще с поддюжины монахов не столь высокого положения, но уже известных в богословской среде как восходящие звезды богословия. Словом, общество за

величественным дубовым столом собралось выдающеесяя.

Приор Уильям смерил отца Чада и брата Томаса задумчивым взглядом, открыл рот, словно желая что-то сказать, но передумал, лишь молча растянул рот в улыбке, поприветствовал обоих кивком головы и после этого словно забыл о них. А тем вполне хватало друг друга: компания столь великих ученых мужей их только смущала. К тому же, оба ужасно устали после нелегкого трехдневного путешествия. После трапезы и вечерни они были счастливы наконец-то вернуться в странно-приимный дом, где отец Перегрин уже ждал отчета. Пока Том разрабатывал его руки, заботливо разминая и вытягивая онемевшие пальцы, ощущывая и растирая сведенные мускулы, отец Чад подробно рассказал, кто был за столом и о чем шла речь.

— И все-таки не понимаю, — промолвил, выслушав его, Перегрин. — Зачем приору Уильяму собирать людей столь высокого уровня и обсуждать с ними, что главнее — Божья справедливость или Его милосердие? Будь это затея отца Гийома, я бы не удивил-

ся: тот, рассуждая о Господе, может не заметить, как пройдет ночь и наступит новое утро; но чтобы приор Уильям... Что же он замышляет? Чтобы узнать это, я бы отдал правую руку на отсечение... кстати, не так уж много и потерял бы... Спасибо, брат, теперь мне гораздо легче; ладони почти перестали болеть. — Тут он зевнул: — Прошу прощения, братья, из-за меня вы уже носами клюете. Идемте спать.

На следующий день, после утрени, благородное собрание сошлось в доме чтений, где, после краткого обсуждения насущных забот общины, начались дебаты.

Вскоре сделалось ясно: приор Уильям, по каким-то известным ему одному причинам, намерен склонить выдающихся мужей к заключению, что справедливость Господа превышает Его милосердия. Брат Томас обводил полусонным от скуки взглядом потолок и стены, пока присутствующие по одному поднимались с мест, чтобы процитировать отцов Церкви, Ветхий Завет, многочисленных греческих и восточных философов, имен которых он отродясь не слышал.

Но вдруг его внимание привлек приторный голос приора Уильяма, взявшегося витиевато сплетать свою речь:

— Крест Господень являет нам не что иное, как возмездие — вершину, пик Его праведного гнева против порочного человечества, ибо Бог создал закон и должен его придерживаться, и, согласно закону, Он требует — нет, даже жаждет! — священной жертвы за грех, пусть даже этой жертвой станет Его Собственный Сын. Цена должна быть уплачена. Хотя плод распятия — милость и благодать, но корень его — справедливость, ибо выкуп за нас внесен. Товар — спасение наших душ — оплачен сполна драгоценным золотом.

После этих слов наступило молчание — унылое, исполненное тревоги. Нарушил его знакомый, спокойный и твердый голос: это отец Перегрин поднялся с места, оперся на костыль, спрятав ладони под широкими рукавами, и произнес, впившись взглядом в приора Уильяма:

— Нет, брат мой, это не так. Истоки распятия — не в справедливости, хотя оно и вправду, как ты сказал, привело к благодати. Корень

его — любовь. И наша цена — не золото, а драгоценная кровь, сама жизнь. Не звон мертвого металла, а стоны Человека, умиравшего в муках. Не желтоватый блеск монет, но сияние капель пота и слез. Справедливость требует: око за око, зуб за зуб, смерть — за любую провинность. Тогда как на кресте принял страдания безгрешный Христос, Сам святой Бог сошел в ад за наши грехи. Это уже не справедливость, господин приор; мы видим здесь нечто высшее — то есть любовь. И не просто любовь, а любовь милосердную.

Отец Перегрин еще стоял, когда приор Уильям поднялся, чтобы возразить ему.

— Уж не хочешь ли ты сказать, — молвил вкрадчивый голос, — будто бы Господь наш несправедлив?

Аббат покачал головой:

— О нет. Будь это так, откуда бы мы вообще узнали о справедливости? Я утверждаю следующее: правда Господа подчинена Его милосердию, ибо правда есть свойство Его характера, а любовь есть Он Сам. Не сказано ли в Писании: «Бог есть любовь»? Но я не помню, чтобы там говорилось: «Бог есть справедливость».

Брат Томас не имел понятия, на чьей стороне истина, если она вообще была на чьей-либо стороне; он даже не очень ясно представлял себе суть их спора. Однако елейный голос приора Уильяма, вещающий о жертвах и гнев, возмездии, золоте и пороках, вселил в него чувство опасности, головокружения, даже легкой тошноты, тогда как речь Перегринна о страданиях милосердной любви вернула спокойствие и уверенность. И, судя по настроению собрания, Том был в этом не одинок.

Тут с места поднялся аббат Гийом, и спорщикам поневоле пришлось оторвать друг от друга пылающие, словно на поле битвы, взоры, сесть и выслушать его мнение.

— *Le bon Dieu* *, конечно, есть *charité* **. Но ведь Он к тому же и совершенен, верно? А совершенство не составляет ли суть справедливости? Строгая, ясная, чистая *verité* *** — *n'est-ce pas* ****? Разве правда, как мы ее себе представляем, есть не что иное, нежели

* Господь (*фр.*).

** Милосердие (*фр.*).

*** Правда, истина (*фр.*).

**** Не так ли? (*фр.*).

стремление к безупречности? *Eh bien**, в непо-
стижимом совершенстве Господа, где все —
сияние истинного света, где выпрямляются
все кривизны, не поглощается ли и сама лю-
бовь выражением всеобъемлющей справед-
ливости, которая и есть совершенство?

— Нет! — Пeregрин снова встал, сверкая
очаи. — Нет, мой добрый брат. Поскольку
Господь любит и меня, даже меня. Хотя сатана
постоянно выставляет напоказ мои слабости
и пороки, я все же спасен во Христе Иисусе
Божьей любовью, от которой меня ничто уже
не отлучит. Даже справедливость. За грехи
мне положена гибель. Но я искуплен, рожден
свыше; Божья любовь хранит меня, воссозда-
ет из пепла и укрывает от зла. *Mon père*** , я
бы не назвал это справедливостью. Это благо-
дать, совершенно ничем не заслуженная. Это
щедрость, не знающая пределов. Это милость.

Брат Томас посмотрел на приора Уильяма.
Тот поглаживал подбородок, не сводя холод-
ного, расчетливого, задумчивого взгляда с отца
Peregрина. Томасу в жизни не доводилось

* Так вот (*фр.*).

** Отец мой (*фр.*).

видеть столь откровенной ненависти, нисколько не смешанной с гневом, страстью и прочего рода волнением, а чистой, безжалостной. Его даже передернуло. Собравшиеся одобрителем заговорили, поддерживая отца Перегрини. Отец Гийом и ухом не повел: его занимал не вопрос поражения или победы, но сами дебаты, как возможность создать прекрасную статую истины, используя вместо ударов по камню точные аргументы; поэтому он был вполне доволен происходящим.

Тут собрание прервали ради торжественной обедни, и Том с облегчением выдохнул: ему не терпелось подвигаться и размять затекшие ноги. После мертвящей скуки утренних дебатов литургия, полная красок и музыки, показалась отдыхом в роскошной гостинице. Когда пришлось возвращаться обратно, брат Томас совершенно скис. Решив, что четырех дней иссушающего богословия ему просто не вынести, он решил улизнуть куда-нибудь сразу после обеда.

Между тем дебаты продолжали тянуться, обращаясь то к совершенству в справедливости, то к совершенству в милости, то к сущ-

ности совершенства, то к вопросу, является ли совершенная милость выражением справедливости как сущности Бога... При этом каждое выступление подкреплялось предлинными цитатами на латыни, которых Том и понять-то не мог до конца, а также отсылками к Афанасьевскому символу веры, которого он толком не помнил. В конце концов его просто сморил крепкий сон.

А вот ужин брата Томаса чрезвычайно порадовал. Стол ломился от кушаний: изысканное жаркое из дичи под пряными соусами, затейливо приготовленные овощи, большие блюда с фруктами и сырами — словом, язык проглотишь! Ради столь редкого случая отменили даже Время молчания, и разговор продолжался в непринужденной обстановке. Впрочем, брату Томасу было не до чужих бесед. Впервые в жизни он увидел возможность насытиться вдоволь, чему и предался с огромной радостью, едва окончилась долгая благодарственная молитва, произнесенная на латыни.

Едоков в трапезной рассадили согласно их положению. Приор Уильям — во главе стола, рядом — специально приглашенные

именитые и ученые гости. Дальше — люди вроде отца Чада, рангом пониже, но не вовсе его лишённые. Том сидел в самом конце стола, среди нескольких молодых монахов, приехавших в качестве личных помощников своих аббатов. Он чувствовал себя не в своей тарелке, будучи отделен от отца-настоятеля. Во-первых, брату Томасу снова не удалось помассировать больные руки Перегринна, а во-вторых, он не успел даже предупредить братьев на кухне, чтобы те помогли аббату разрезать еду. С другой стороны, Перегрин не впервые оказывался в таком затруднительном положении; наверняка он сумеет выкрутиться, не привлекая всеобщего внимания к своей беспомощности. Тем временем Том оценил по достоинству налитое для него вино. Его соседи по столу тоже явно привыкли пить только разбавленный эль. Один из них улыбнулся с довольным видом и, поставив на стол изящный серебряный бокал, заявил:

— Да это же просто пламя в сердцевине рубина! Пожалуй, призови меня Бог служить в этой общине, я не заставил бы долго себя уговаривать.

Вино и вправду было отменное — чистого насыщенного цвета, нетерпкое, согревающее.

От каждого глотка по телу разливалось ощущение благодати.

— Честное слово, я тоже с радостью уговорил бы целый бочонок, — охотно поддакнул Том. — Вот только провести всю жизнь под началом бессердечной ледышки? Для этого нужен соблазн посильнее.

Сосед хохотнул и показал глазами в сторону приора Уильяма:

— Очарователен, да? Не обращай внимания. Зато он прекрасно знает, где закупать лучшую провизию. К примеру, ты уже пробовал этот сыр?

Хотя в трапезной собралось немало людей, всем им было привычнее принимать пищу в молчании, воздерживаясь не только от разговоров, но и от того, чтобы лишний раз звякнуть ложкой или бокалом. Поэтому беседы за столом велись очень тихо, и приору Уильяму стоило лишь слегка возвысить свой вкрадчивый, приторный голос, чтобы его слышали все без исключения:

— Ах... Прошу прощения, отец Колумба. Я и не подумал о том, что твое увечье сделало тебя настолько... неловким. Досадное

упущение! Ты, верно, привык, чтобы за тебя нарезали еду?

Рука брата Тома замерла на полпути ко рту и медленно опустилась на стол. Кусок ароматного сыра выпал из пальцев. Разумеется, все взгляды тут же обратились к отцу Перегрину, и тот помертвел на глазах. Он как раз пытался справиться с аппетитным куском мяса (не самое мудрое решение при таких обстоятельствах, но ведь и голод не тетка), когда нож словно сам собой повернулся в скрюченной руке и часть подливки выплеснулась на белоснежную скатерть. Приор Уильям откинулся на спинку своего роскошного стула, впившись в Перегрину холодным, издевательским взглядом.

— Нет, — прошептал побледневший Томас, — только не это, пожалуйста!

— Может быть, мне попросить кого-то помочь тебе? — В сладком голосе прозвучала неприкрытая ненависть.

Брови приора насмешливо изогнулись, на губах заиграла бессердечная улыбка. Водянистые глаза безжалостно сверлили отца Перегрину. Выдержав этот взгляд, гость залился краской, скрипнул зубами и вновь уставился

на свою тарелку. Сидевшие рядом беспокойно заерзали и попытались вернуться к своим разговорам, как ни в чем не бывало.

— Так как же, отец Колумба? — Блекло-голубые глаза сверкали злорадством.

Брат Том затаил дыхание.

— Да, если не затруднит, — только и ответил отец Перегрин. — Благодарю за помощь.

Томас облегченно выдохнул. Ему хотелось вскочить на стул и захлопать в ладоши.

«Что за человек! Что за человек! — мысленно возрадовался он. — Так смириться перед этим жестоким чертом!»

Но радость его была недолгой. Перегрин потянулся дрожащей рукой к бокалу. Эта попытка обошлась ему слишком дорого.

— Ой! Надо же! — слышался тут же еле слышимый и одновременно исполненный яда голос. — Теперь отец Колумба еще и вино расплескал. Забыл спросить: ты как обычно кушаешь, самостоятельно или с ложечки?

— Сам, — отвечал аббат еле слышно.

— Не волнуйся, — не отступал приор. — Помощник вытрет лужу, которую ты наделал. Эй,

парень! Видишь вон то пятно? ...Да, и там тоже. И еще здесь. Спасибо. Налей-ка ему еще вина.

Перед отцом Перегрином поставили блюдо с нарезанной пищей; он пробормотал слова благодарности, но к еде почти не притронулся. Зато поминутно прикладывался к бокалу весь ужин, не заводя разговора ни с кем. Его уверенность в себе явно пошатнулась. Между тем коварные бледно-голубые глаза так и продолжали язвить жертву, не давая ей передышки.

Наконец трапеза окончилась, и настало время идти к девятому часу. Поднимаясь, Перегрин покачнулся и оперся ладонью о стол. Брат Томас поспешил к нему на помощь.

— Тебе нехорошо, отец Колумба? — прозвучал беспощадный голос. — Не слишком ли много вина ты принял? Если пропустишь службу, мы все пойдем.

— Заткнитесь же вы, — буркнул Том вполголоса, озираясь в поисках отца Чада.

Вдвоем они помогли хромящему отцу Перегрину покинуть трапезную и добраться до странноприимного дома. К счастью, прочим гостям хватило такта не пялиться и отводить глаза.

— Теперь — лестница, — опасно произнес отец Чад.

Перегрин вскинул голову.

— Отправляйся в часовню, — отрезал он. — Не доверяю я этому змею, кто-то должен за ним следить. Иди. Я потом догоню.

Но, говоря это, аббат сильно налег на плечо брата Томаса, и последняя фраза прозвучала почти нечленораздельно. Том сильно сомневался, что настоятель способен сегодня попасть куда-либо, кроме постели, да и туда его еще предстояло доставить.

Помочь подняться по узкой лестнице человеку не только хромоту, передвигающемуся спиной вперед, но и пьяному в стельку, — та еще задача. К счастью, Том набрался бесценного опыта во время кое-каких проделок с участием брата Френсиса. Отец Перегрин осложнил все дело, наотрез отказавшись расстаться с костылем, в котором видел теперь последний оплот своей независимости. Наконец они как-то справились, и брат Томас довел аббата до комнаты, где тот в изнеможении рухнул на стул, мрачно уставившись перед собой.

— Давайте я вас разую, отец. Вам нужно поспать.

Присев на корточки, Том принялся развязывать ремешки на обуви своего настоятеля. Потом оперся рукой о его колено для равновесия, посмотрел на Перегриня снизу вверх, увидел мутные глаза, непривычно сторбившиеся плечи и не выдержал — ухмыльнулся:

— Ну и набрались же вы!

Аббат угрюмо кивнул.

— И кто из нас теперь глупец? — произнес Перегрин с горечью.

Однако взгляд брата Томаса, полный теплой иронии и заботы, проникнув сквозь пары алкоголя и жалости к самому себе, плотно окутавшие Перегриня, все же заставил его хоть и криво, но улыбнуться.

Том кое-как упросил его лечь, и аббат позабылся мертвецким сном до утра.



На другой день отец Перегрин твердо решил во время утреннего собрания наверстать упущенное накануне: ведь он не присутствовал

на вечерних дебатах. Отец Гийом рассуждал о том, что на протяжении всего Ветхого Завета Божья справедливость являлась прямым свидетельством Его присутствия, знаком Его любви. Обширные познания говорившего и его внимание к подробностям не могли не произвести впечатления, и приор Уильям довольно кивал, прислушиваясь к речам ученого гостя. Но вот поднялся отец Перегрин — и мгновенно притянул к себе взоры. Его вчерашнее отсутствие, разумеется, не прошло незамеченным; всем было любопытно, что-то он теперь скажет, как поведет себя после того, как на глазах у почтенного собрания перебрал вина и не смог сам выйти из трапезной.

— Все, что вы говорите, отец Гийом, это правда, — промолвил аббат. — Верно, что суд и власть — атрибуты справедливости на земле, — несомненно, одобрены Божьей волей. Верно и то, что Господь лепит людские жизни согласно Своим законам, что праведники познают Бога на стезях правды и мира. Но справедливость есть путь, а не цель пути. Это всего лишь оправа для истинной драгоценности. Она, вроде Иоанна Крестителя, только

предтеча, призванная расчистить дорогу для пришествия Самого Христа. Сам же Он приходит как милосердие. Как любовь. Вспомним слова псалмопевца: «*Hodie si vocem ejus audientis, nolite obdurare corda vestra*»*. Не ожесточите сердец ваших. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших**. Упаси нас Боже предъявить перед Ним стерильную правильность людей, познавших справедливость, но так и не вкусивших милости.

Собравшиеся, словно замороженные, слушали его убедительный голос, а Перегрин продолжал упорно отстаивать одну и ту же мысль — подобно тому, как терьер преследует крысу, — о том, что милосердная Божья любовь — это главная, осевая истина, от которой зависит вся человеческая жизнь.

Приор наблюдал за ним с абсолютно бесстрастным лицом. Во время дебатов Перегрин был неподражаем, но все-таки он уже показал свою уязвимость. А значит, можно найти и другие способы опорочить его в гла-

* См.: Пс. 94:7-8.

** См.: Евр. 3:7-8.

зах собрания. Шагая после обедни в трапезную, Уильям несколько раз усмехнулся собственным мыслям. Он холодно и безжалостно выжидал подходящего момента, чтобы нанести удар. Приор находил особое удовольствие, наблюдая за тем, как этот утонченный, образованный аристократ все сильнее нервничает, как старается игнорировать издевательское внимание хозяина и не потерять лица под его неприятным, назойливым взглядом. Уильяму нравилось выжидать, но не слишком долго. Едва благодарственная молитва была прочитана (помощники еще только расставляли блюда), как вновь зазвучал его вкрадчивый, безжалостный голос:

— Ох, не забыть бы позаботиться о тебе, отец Колумба! Вижу, еду нарезали? Это хорошо. Справишься сам? Да неужели? Увы, кажется, я не все продумал. Видишь, отец Колумба, ты вновь что-то уронил. Теперь придется одежду стирать — как жаль, правда? А может, обернуть тебя полотенцем, словно малыша, когда он учится кушать? Это ведь избавит тебя от затруднений? Эй, парень, принеси-ка полотенце побольше и обвяжи вокруг шеи нашего гостя.

Беседы во главе стола умолкли, гости, неприятно задетые сценой, уставились в собственные тарелки. Отец Перегрин убрал руки от блюда и, прикрыв их широкими рукавами, положил на колени. После этого он застыл, молча дожидаясь следующего злого укола. Юноша принес полотенце, встал за его спиной. Тут приор наклонился вперед с явным желанием что-то еще сказать, и глаза его засветились предчувствием близкой победы.

— Mais non, laissez-le tranqui!, mon père. Ça suffit*, — с несчастным видом пробормотал аббат Гийом, однако приор и ухом не повел.

— Спасибо, мальчик. Ну, вот и полотенце. Обвязать тебя, друг мой?

Перегрин обернулся на юношу, замершего с полотенцем в руках, посмотрел на притихших ученых мужей, не способных унять любопытство при виде его беспомощности... И чаша терпения переполнилась.

Хриплый возглас «Нет!» потряс раскаленную добела атмосферу. В нем было столько боли и одиночества, что разжалобился бы

* О нет, оставьте его в покое, отец. Довольно (фр.).

даже камень (по крайней мере, так показалось брату Томасу), однако невозмутимая улыбка приора даже не дрогнула. Он и глазом не моргнул.

Перегрин наклонился, на ощупь нашел свой костыль на полу и, оттолкнув свой стул с такой силой, что тот с грохотом упал, нетвердым шагом направился к выходу. Мальчик из прислуги помог ему справиться с засовом, и аббат наконец-то вырвался на свободу.

Брат Томас окаменел от ужаса. А приор посмотрел на него через весь длинный стол и, насмешливо выгнув бровь, произнес в наступившей тишине:

— Похоже, твой господин весьма вспыльчив. Он хоть когда-нибудь встает из-за стола трезвым и в добром расположении духа? А может, я его чем-то обидел?

У Тома в висках оглушительно застучало. Онемев от гнева, он молча смотрел на этого человека, не скрывающего жестокой улыбки. В ушах опять зазвучали давние, смешанные с горькими слезами слова: «Мои руки... Господи, как я теперь без них? Лучше бы просто умереть...»

И брат Томас не выдержал. Он медленно поднялся из-за стола. Отец Чад только бросил на него взгляд — и в испуге обхватил голову ладонями. Намеренно неторопливым шагом Том приближался к приору. Уильям уставился на него снизу вверх с возмущением и любопытством.

Том сделал глубокий вдох и отчасти взял себя в руки, чтобы не закричать.

— Это так легко... легко... — голос его дрожал от сдерживаемых чувств, — унижить ближнего, выставить его дураком. Что уж там, хватит и малости...

Тут он молниеносно выбросил руку вперед, ухватил приора за седины и ткнул головой в тарелку. Кто-то пораженно молчал, кто-то начал перешептываться. Брат Томас забыл в этот миг обо всех, его все еще трясло от негодования. Уильям поднял вымокшее лицо. Над его левой бровью красовался пузырь из подливки с петрушкой. Юноша с полотенцем поспешил к приору на помощь.

— Гораздо сложнее было бы победить в дебатах, — выкрикнул Том, — или проявить истинное смирение! Для этого нужен ум, нужна

храбрость. А вы, милорд, обнаружили перед всеми отсутствие и того, и другого! — Испепелив противника взглядом, он с презрением продолжал: — Меня тошнит от вас. Уж лучше всю жизнь ползать тараканом в доме моего настоятеля, чем занять высший пост под вашим началом!

Возможно, все бы еще могло обойтись, но тут отец Роджер из Уитби тихо промолвил:

— Аминь.

И это стало последней каплей.

— Увести его! — рякнул Уильям, чье лицо из-за соуса превратилось в бледную маску ярости. — Пусть остынет в тюрьме, пока его господин не придет в себя и не даст позволения выпороть негодяя. Я много слышал о нравственном упадке бенедиктинцев, но теперь вижу собственными глазами, что это правда.

По завершении послеобеденных дебатов и вечерни отец Перегрин отыскал отца Чада и в тревоге спросил:

— А где брат Томас? Что он опять натворил?

— Боюсь, после вашего ухода он устроил целый скандал, — печально покачал головой

отец Чад. — Наш Том ткнул господина приора лицом в тарелку с ужином. Сказал, что унижить человека и выставить его дураком нетрудно; для этого, мол, достаточно и такой малости. А потом, дескать, для смирения перед людьми нужно иметь мужество, для победы в дебатах — ум, а у господина приора и в том, и в другом недостаток. Брат Томас не сказал напрямую, что уж вам-то и первого и второго не занимать, но это явно имелось в виду.

Тут он осмелился поднять виноватое лицо — и увидел на лице Перегрина недоверчивую ухмылку.

— Правда? Так и сказал? Благослови его Бог! За это многое можно простить. Надо же: мужество, чтобы смириться, и ум для победы в дебатах! А я-то хотел удрать отсюда! Как же с ним поступили?

— Заключили в тюрьму до тех пор, пока вы, отец, не вернетесь к нам и не дадите позволения его высечь.

— Высечь? За что? Нет, только не я! Да они у меня его и пальцем не тронут!



Столкновение состоялось на следующий день, во время обсуждения текущих дел перед утренними дебатами. Взъерошенного, не сломленного духом брата Томаса привели и поставили перед собранием, лицом к господину приору, восседавшему на особом возвышении, на стуле с высокой резной спинкой. Уильям смерил Тома холодным брезгливым взглядом — точно слизня, заползшего к нему в салат.

— Ты заслужил порку, юный глупец, — с невозмутимой учтивостью начал приор, — за грубое поведение и непочтительные манеры. Уверен, что вы дадите разрешение наказать его, отец Колумба? — Тут в приторном голосе все-таки прозвучала нотка триумфа. Господин приор был уверен, что жертвам не выкрутятся. Он опозорил, опорочил их перед всеми.

Однако отец Перегрин ответил:

— Нет, не дам. — И поднялся на ноги. — В нашей общине, — продолжал он, — не наказывают за верность, а тем более за любовь, каким бы неразумным способом человек их ни выразил. Для нас это — ценность. С другой стороны, мы никогда не смотрим сквозь пальцы

на неучтивость и насилие. Брат Томас, ты должен попросить прощения.

Том посмотрел на своего аббата (Перегрин ответил ему спокойным взглядом, исполненным уверенности и властной силы) — и преклонил колени перед приором:

— Смиренно признаю мой грех: я был ужасно груб и недостойным образом прибег к насилию. Прошу прощения перед Богом и перед вами, мой господин.

Блеклые глаза Уильяма чуть не вылезли из орбит от злости. Он не мог понять, как эти двое ухитрились все обернуть в свою пользу. Ведь невозможно же унижить человека, который сам готов смириться, или оскорбить того, кто с готовностью встал на колени! Этот ненавистный калека держался истинным королем, а дерзкий мальчишка просил прощения с такой кротостью, без тени вызова или неискренности, что невозможно было придаться.

— Ты прощен, ступай с миром, — выдавил из себя господин приор, по обычаю своей общины, при этом чуть не задохнувшись от этих прекрасных слов. Судя по выражению лица,

он охотнее послал бы брата Томаса в преисподнюю.

Тут снова заговорил Перегрин:

— В качестве наказания, сын мой, я бы велел тебе вернуться в тюрьму, поскольку, как выяснилось, в гневе ты совершенно не владеешь собой, а также поститься на хлебе и воде вплоть до нашего возвращения домой.

— Быть посему, — процедил приор и с досадой отпустил брата Томаса жестом изящной, белой, украшенной перстнями руки.

Словом, Том закончил неделю так же, как и начал — питаюсь водой и хлебом, едва избежав серьезной порки. Тюрьма состояла из трех отдельных камер — мрачных каменных построек, в маленькие решетчатые окошки которых лишь по утрам ненадолго заглядывало солнце. В соседней камере сидел местный крестьянин, дожидавшийся, пока его семья сможет выплатить приорату долг за право проезда через монастырские земли. Узники коротали время за разговорами. Для этого им приходилось прижиматься лицами к решетчатым окошкам в массивных дверях и говорить как можно громче.

— Старый тиран и скряга этот приор, — посетовал крестьянин, поведав свою печальную историю. — Все ясно, как день. Взять хотя бы его последнюю выдумку — эти дебаты. Когда он только насытится? Наверное, никогда.

— Что? Я думал, тут речь о богословии, о духовном...

— Духовном? Боже упаси, бесплотны здесь разве что слуги, которым платят сущие гроши. Нет, он затеял присвоить себе права на рыбалку.

— *Рыбалку?* — озадачился Том. — А дебаты-то здесь при чем?

— Ну, ведь речь о милости и справедливости, верно? Я так и думал. Знайте же, молодой человек, что в понимании приора Уильяма, по справедливости, права на рыбалку по всей длине реки, протекающей в этих землях, принадлежат ему одному. Он может отказать в этом любому крестьянину, а главное — взимать деньги с нарушителей. А по милости, духовник вроде него мог бы оставить селянам хоть эту малую радость и возможность покушать немного рыбки за его счет, как это и

происходило здесь долгие годы. Вопрос в том, каким надлежит быть Божьему человеку — справедливым или же милосердным? Приор Уильям намерен доказать всем, что первое гораздо важнее второго. Тогда сам епископ поддержит его петицию к шерифу об усилении наказаний за незаконную ловлю. Эй! Ты меня там еще слушаешь?

— Слушаю, только... Чтоб я сдох! Старый жадюга! Ты серьезно? *Рыбалка!*

— А что? На вашего брата монаха рыбы не напасешься! — Крестьянин хохотнул в ответ на возмущенный возглас своего собеседника. — В общем, я тебе все рассказал, как есть. О, а вот и наш ужин — моя овощная похлебка и твои сухари. Матерь Божья, тебе прислали чуть ли не четверть фунта! Сегодня что, большой праздник?



К концу дебатов отца Перегринна мутило от голода. В последние дни, ради славы Божьей, он позволял оборачивать себя полотенцем, словно маленького ребенка. Зато ему удалось одержать блестящую победу в дебатах, не

оставив в сердцах своих слушателей ни тени сомнения в том, что сила Господа заключается именно в милосердии. В итоге приор Уильям, сверх меры потратившись на прием высоких гостей, лишь бы доказать обратное, проиграл затеянное им дело: после того как епископ отклонил его прошение, он окончательно лишился исключительных прав на рыбную ловлю. В то утро, когда отец Перегрин со спутниками пустился в обратный путь (Тома к тому времени выпустили из камеры, он успел хорошо позавтракать и заботливо выбрать своего настоятеля), Уильям не вышел проститься. Однако отец Гийом, тоже собиравшийся в дорогу, окликнул их через двор и, запыхавшись, даже подбежал.

— Adieu, mon frère*, — сказал он, нежно взяв Перегрин за руку. — Какая честь — снова принять участие в дебатах вместе с вами!

Настоятель аббатства Святого Алкуина наклонился из седла и подарил товарищу братское целование. Гийом замер, не отпуская его руки, вздрагивая всеми подбородками от избытка чувств.

* Прощайте, брат мой (*фр.*).

— Qui se humiliaverit, exaltabitur, non? Унижающий себя возвысится*. Господь не забудет этого. Moi non plus**. Adieu, — промолвил он и поцеловал изувеченную кисть. Затем попятился и помахал на прощание: — Adieu, брат Томас! Ах, если бы мои братья почитали меня так же сильно, как ты своего аббата! Adieu, отец Чад! Au revoir***

Обратно всадники мчались почти так же быстро. Последние несколько миль кони неслись по торфяникам вересковых пустошей, едва касаясь копытами земли, — до того не терпелось отцу Перегрину вернуться под кров родного монастыря.

— А у нас именитые гости, — сообщил привратник, распахивая ворота. — Сэр Жоффруа и леди Агнес д'Ибасси.

Аббат покачал головой:

— Отец Чад, сегодня их принимаете вы с братом Амброзом. А я уж точно не ужинаю ни с кем — для этого я слишком голоден!

* См.: Лк. 18:14.

** Я тем более (*фр.*).

*** До свидания! (*фр.*).



Мама поворошила дрова в угасающем костерке, и тот снова занялся. Она сидела на камне при свете огня и куталась в шаль. Ее темно-синяя юбка струилась от колен тяжелыми складками, а непослушные волосы пышно рассыпались по плечам и спине. В эту минуту мама казалась пришелицей из давних времен — наверное, из времен отца Перегринна.

— Что за противный, противный дядька, — сказала я. — Таких просто не бывает!

— Ты думаешь? — Все еще недовольная костром, она снова пошевелила дрова, чтобы те разгорелись как следует: — Вот, уже лучше.

— Ну, лично мне такие не встречались.

Мама уперлась локтями в колени и, положив на ладонь подбородок, залюбовалась пламенем. На ее лице плясали теплые блики. Сумерки вокруг нас понемногу сгущались в ночную тьму.

— Бессердечие, — произнесла мама, повернувшись ко мне, — присуще всем людям на свете. Желудь — той же природы, что дуб. Маленькие, терпимые проявления жестоко-

сти, на которые мы с тобой посмотрим сквозь пальцы, по большому счету не особенно отличаются от злости приора Уильяма.

— Это ужасно, — пригорюнилась я. — Не хочу быть такой.

— Вот и молодец. Если у тебя в сердце иссякнет милость, ты всегда можешь попросить у Бога еще. А от любой нашей черствости и бездушия существует одна молитва: «Господи Иисусе, помилуй меня, грешного». И тогда Его милость укореняется в нас, прорастает, приносит плоды. Но для этого мы должны дать Богу шанс. А где твой отец? Укладывает Сесили спать?

— Нет, вон он идет. Ух ты, и даже с бутылкой вина! А у Терес есть хрустящий картофель.

Мама с улыбкой вытянула ноги поближе к теплу огня:

— Песни, рассказы, вино у костра... Люди, ночующие в гостиницах, не представляют себе, как много теряют.

— Мам... — Я потянулась взять одноразовый стаканчик с вином из папиных рук: — Спасибо, папа... А что ты там говорила про брата Томаса и девушку?

— Что у него были неприятности на первом году послушничества, после принесения первых обетов.

— Ты мне расскажешь?

— Не сегодня. Напомни как-нибудь перед сном.

С тех пор я напоминала ей каждый вечер, однако малышки ложились спать все позже и позже: то заиграются у ручья, то подолгу поют у костра, — так что больше историй не было до самого нашего возвращения домой.



Содержание



Община аббатства Святого Алкуина	5
<i>Глава первая. Об этих историях</i>	9
<i>Глава вторая. Ну, и кто теперь глупец?</i>	23
<i>Глава третья. Цена верности</i>	81
<i>Глава четвертая. Нищий духом</i>	137
<i>Глава пятая. Испытай мое сердце</i>	181
<i>Глава шестая. Раны Господни</i>	219
<i>Глава седьмая. Святая бедность</i>	261
<i>Глава восьмая. Дорога, ползущая вверх</i>	303
Словарь терминов	340
Распорядок дня в монастыре	344
Литургический календарь	346